
ОЖИДАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧУДА В ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ И СУДЬБАХ ГЕРОЕВ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ»

«Что она, уж не чуда ли ждёт?» [1, с. 305] — мысленно задаёт вопрос себе Раскольников в беседе с Соней, не замечая того, что это скорее сам он ждёт чуда, не понимая, что это ясно, как день, его главному оппоненту, Порфирию Петровичу, отчего тот и задаёт свой вопрос: «И-и в Бога веруете?... И-и в воскресение Лазаря веруете?...» [1, с. 247].

Раскольников отвечает твёрдо и спокойно дважды: «Верую», — когда речь идёт о Новом Иерусалиме и о вере в Бога. Но когда прозвучал вопрос о воскресении Лазаря, он дрогнул: «Ве-верую. Зачем вам всё это?» Порфирий не отступает: «Буквально веруете?» — «Буквально», — без объяснений отрезает Раскольников. «Вот как-с... так полюбопытствовал. Извините-с» [1, с. 247], — проговаривает Порфирий, видимо, мысленно уже подводя итоги этой краткой интермедии, как бы невзначай вклинившейся в мучительный разговор, в ходе которого следователь всё подводит и никак не подведёт Раскольникова к краю пропасти, провоцируя его, поддразнивая, заставляя всё более и более раскрываться в том, что Порфирию Петровичу уже понятно и почти полностью известно.

Интермедия эта не случайна, как не случайно и то, что в разговоре с Соней Раскольников принуждает её прочесть ему из Евангелия отрывок о воскрешении Лазаря. Сам ли он заранее обдумывал этот евангельский сюжет или на него натолкнул его Порфирий, не столь важно. Суть в том, что потребность в чуде, жажда чуда, интенциональность к чуду — это одна из доминант его внутреннего состояния, что, по-видимому, пронизательный Порфирий Петрович и почувствовал, почему и его вопросы случайны лишь по месту и времени их появления, но не по существу.

Тонкий психолог, составивший себе достаточно адекватное представление о внутреннем мире Раскольникова, Порфирий понимает, что подобный характер при столкновении с экзистенциальной катастрофой не может искать выход только на плоскости профанической, но будет стремиться к духовному разрешению неразрешимой коллизии, будет пребывать в эсхатологическом устремлении покончить с профаническим здесь-бытием, вырваться за его пределы к трансцендентному, и всё это поначалу неосознанно, в смутном переживании, в недифференцированном иррациональном волевом порыве. Психологически это первоначальное бессознательное устремление и выявляется как жажда чуда, при том такая жажда, которая не считается с объективными условиями и обстоятельствами, с законами естества: логическая или онтологическая невозможность чуда игнорируется, такова уж мера его субъективной необходимости, потребности в нём.

Переживающий такую жажду готов уверовать в любое чудо вообще, сколь бы немислимым ни казалось оно для эвклидова разума. Способность человека уверовать в немислимое, таким образом, есть показатель того, что и сам он по-настоящему жаждет чуда, а значит, что он сам претерпевает неразрешимую коллизию, сам лицом к лицу столкнулся с экзистенциальной катастрофой. Что и требовалось доказать Порфирию. Потому-то он интуитивно выходит на вопрос именно о воскрешении Лазаря — и получает полное удовлетворение: Раскольников в очередной раз проговаривается, тут-таки не распознав неожиданного подвоха, очевидно, потому, что, уже испытывая жажду чуда, он её пока не осознаёт.

Но вот он сталкивается с Соней, пережившей свою катастрофу, претерпевающей свою неразрешимую экзистенциальную коллизию, и, глядя на неё, догадывается: она ждёт чуда. То, что он даёт этому толкование, так сказать, клиническое, — «сошла с ума», «помешательство», «юродивая» [1, с. 305–306], — есть просто проявление свойственного ему (но до поры) эвклидова подхода к подобным вещам и вообще его неверия (в той же ведь беседе он сам говорит: «Да, может, и Бога-то нет» [1, с. 303]). Но главное — интенция к чуду — угадано им, по-видимому, верно. И тут интуиция и его, как Порфирия, может, и благодаря подсказке следователя, выводит на мотив воскрешения Лазаря. Он настойчиво и даже грубо требует, чтобы Соня прочитала ему этот отрывок. Он догадывается — в этом она будет «выдавать и обличать

всё своё. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну её..» [1, с. 308].

Вместе с тем он догадывается и о том, что «ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и все опасения, и именно ему, и непременно теперь».. [1, с. 308]. Это он «узнал и узнал наверно», не вдумываясь в мотивацию этого желания, предугадывая и убеждаясь лишь в том, сколь сильна в ней эта жажда невозможного, сколь велика её вера в немыслимое, сколь значима для неё евангельская реальность — реальность веры как «осуществления ожидаемого» [Евр., 11:1], т. е. осуществления того, с чем связаны ожидание, чаяние, надежда, упование, настоятельная потребность. Раскольников видит: «да, так и есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило её. Голос её стал звонок, как металл, торжество и радость звучали в нём и крепили его» [1, с. 309].

Достоевский приоткрывает лишь один мотив, почему ей хотелось всё это прочесть: «И он, он — тоже ослепленный и неверующий, — он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же, — мечталось ей...» [1, с. 309].

Но зачем ей, чтоб он сейчас же уверовал? Не из благодарности же или симпатии к доброму, но неверующему человеку. Нет, конечно, дело в другом.

Она, пережив свою катастрофу, зная, что такое безысходность и отчаяние, обрела особую духовную чуткость и интуитивно уже прозревает, что и положение, и внутреннее состояние Раскольникова так же катастрофичны, так же безысходны и отчаянны, как у неё, что он так же нуждается в чуде и, может быть, уже бессознательно тоскует по вере, но всё никак не может пережить обращение к ней, всё никак не уловит, в чём содержание необходимого ему чуда.

Соня же знает не только жажду чудесного, но уже глубоко прониклась сутью того чуда, которое нужно как ответ её собственной — и раскольниковской экзистенциальной коллизии: недаром две остановки — первая, в предчувствии, что дрогнет голос, и вторая, когда она с болью переводит дух, обрамляют главное, очевидно, место в чтении, частично подчёркнутое и автором. Вот это предложение с авторским курсивом: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрёт, оживёт» [1, с. 309]. Если в контексте евангельском здесь речь идёт буквально о смерти и воскресении, то в контексте су-

деб и Сони, и Раскольникова — о гибели и возрождении, падении и спасении. Это и есть то чудо, в которое верует (а не только жаждет его) Соня. Это её символ веры: верующий, если и умрёт, оживёт. Тут и начинает проглядывать то всё, что даёт и что делает ей Бог, вспомним реплики, которыми обмениваются Раскольников и Соня: «— Так ты очень молишься Богу-то, Соня? — Что ж бы я без Бога-то была? — А тебе Бог что за это делает? — Всё делает» [1, с. 306].

Здесь в устах Сони очень характерно это «делает» вместо, скажем, «сделает», «даст». Соня здесь не просто поддается инерции: в вопросе «делает» — и в ответе «делает». Вопрос-то саркастический и почти риторический, ибо за ним утверждение: то, что делает, как бы и говорит о том, что либо Его нет совсем, либо Он оставил тебя на произвол твоей судьбы, подпадающей под определенный процент.

Ответ же полемически заострён против подобной риторики. В нём проявление того же представления: верующий, если и умрёт, оживёт, многократно усиленного употреблением формы настоящего времени. Если «делает» (а не «сделает»), значит, Соне в её судьбе интуицией уже открывается не только возможность, но реальная действительность возрождения и спасения.

Это и есть чудо, к которому интенционально устремлена душа Сони, которое она уже переживает и к которому она стремится приобщить Раскольникова. Как стало оно возможным — для Сони, которая, по словам Раскольникова, сама «на себя руки наложила», «загубила жизнь... свою» [1, с. 311], которая сознаёт себя бесчестной, великой грешницей.

В первую очередь объясняется это тем, что для такой натуры, как Соня, грех, падение, позор, низость, грязь и бесчестие — всё это есть повод для предельного обострения духовной жажды, жажды Бога, жажды единения с Ним, восстановления единства с Ним через покаяние. Как у мытаря из притчи о мытаре и фарисее, как у блудного сына, у неё есть сознание своего недостойнства не то, что перед Богом — перед Авдотьей Романовной. Но недостойнство не отменяет благодати милости Божьей, и можно догадываться, сколь часто повторяла Соня слова мытаревой молитвы: «Боже, милостив буди ми грешной». В эту милость она уверовала.

Она твёрдо помнила: Христос «пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» [Мф. 9:13], Христос не оттолкнул грешницу, но сказал: «Прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила

много» [Лк. 7:47], «Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» [Мф. 18:11]. Вот и она чувствует себя заблудшей овцой, которую Господь найдёт, «а найдя, возьмёт её на плечи свои с радостью» [Лк. 15:5], восстановив через покаяние своё духовное единение с Богом, она предаётся Его руке, Его воле, она знает, что воля эта — к спасению, и начинает переживать это спасительное присутствие Бога в её жизни здесь и сейчас — не в неопределённом будущем, не по смерти, не на Страшном Суде, но уже теперь — в унижении и бесчестье.

Ей открылось это чудо — спасительное присутствие Божье в душе павшего человека, ещё даже не восставшего из своего падения, но уже покаявшегося, и она с верою приемлет это присутствие и оживает душой, уже ожила. В её экзистенциальном опыте было пребывание во гробе, был трупный смрад казавшейся окончательной гибели, но было уже и воскресение Богом её души. Через веру ей действительно дано «осуществление ожидаемого»: не жажда чуда присуща ей, но переживание этого осуществления.

И ей ведомы пути к этому осуществлению, и она уже идет ими, начав с покаяния, идет далее путями жертвы, страдания, любви. И всё это дано ей в непосредственном переживании духовного бытийственного содержания её судьбы. Ведь видит Раскольников, что ею продуманы давно и до конца самые страшные из возможных исходов в её судьбе: и больница, и смерть Катерины Ивановны, и то, что «с Полечкой, наверное, то же самое будет» [1, с. 303]. Она знает, что сидит «над погибелью, прямо над смрадной ямой, в которую уже её втягивает» [1, с. 305].

Но упорно следующий своему эвклидову подходу Раскольников, думая: «Разве так можно... махать руками, и уши затыкать, когда ей говорят об опасности» [1, с. 305], — ошибается: не затыкает она уши, не прячет голову в песок, она смотрит прямо в яму и прозревает духовное разрешение неразрешимого: идти путями покаяния, жертвы, страдания, любви — а дальше — Божий промысел, о котором она по другому поводу говорит, что знать его не может, но и не зная его, она готова отдаться ему вполне, и в том залог её спасения.

Если Соня много молилась, могла ли она пройти мимо строк покаянного псалма: «Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» [Пс. 50]. А ведь тут уже была надежда, и надежда искупленная.

Претерпевая скорбь, позор, грязь, могла ли она не заметить слов Христа: «претерпевший же до конца спасётся» [Мф., 10:22]. Умертвив, предав себя на бесчестье, могла ли она не внять сказанному Спасителем: «Кто станет сберечь душу свою, тот погубит её; а кто погубит её, тот оживит её» [Лк. 17:33].

Так ведь, выйдя за первыми тридцатью целковыми, она и впрямь шла душу губить, не жизнь телесную, земную, а душу, бессмертную душу. И хотя и была у неё мысль после того, «как бы разом покончить» [1, с. 304], но стоял перед нею неотступно вопрос: «А с ними-то что будет?» [1, с. 304]. И шла она снова и снова губить душу, но вела её этим путём погибели любовь — та, о которой было сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» [Ио., 15:13]. И вот там-то — в бездне погибели и падения, но погибели жертвенной и падения, вызывающего такое страдание, что и Раскольников ему поклонился, переживает она осуществление чуда, обретая высший дар, впрочем, ничуть не сознавая того, поскольку уверена, что недостойна, поскольку имеет сердце сокрушенное и смиренное, — дар единения с Богом через жертвенную, страдающую и сострадающую любовь. О таком сказано апостолом Иоанном Богословом: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» [1Ио., 4:16].

Так обретает она осуществление уповаемого, так переживает присутствие Бога, который не уничивает её сердца, но возрождает душу. Вот более полное представление её символа веры: верующий, что Бог есть любовь, пребывающий сокрушенным сердцем в любви, если и душу погубит, оживёт, ибо пребывает в Боге, и Бог в нём.

Может ли она, такая, согласиться с эвклидовым утверждением Раскольникова: «А пуще всего, тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя» [1, с. 304]. Может ли она так бояться, как это полагает естественным Раскольников, тех опасностей, на которые он ей указывает в реальном, но не выходящем за пределы профанического, существовании. Она и на это могла бы возразить, ссылаясь на апостола Иоанна Богослова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» [1Ио., 4:18].

Такую веру она и стремилась передать Раскольникову, ибо и к нему она испытывает то же интенциональное отношение страдающей и сострадающей любви, готовой к новой жертве, прозревающей, как необходимо ему сокрушение, и готовой взять на себя сокрушение

и его сердца, сопереживающей погибельному состоянию его души, интуитивно прозревающей его жажду чуда и постигающей, что это не есть чудо спасения на плоскости профанического существования, но чудо духовного разрешения неразрешимого, владеющей тайной возрождения души через покаяние, страдание, жертву и любовь, пережившей осуществление уповаемого и стремящейся приобщить к этому осуществленному чуду и его.

Раскольников не готов принять ни того, во что верит и что переживает Соня, ни её интенционального отношения к нему. Но одно можно сказать: ему, как и Соне, необходимо духовное разрешение коллизии, ему не нужен бог из машины, спасающий его профаническое существование. Характерно, что явление такого бога из машины в лице Свидригайлова как бы игнорируется и Раскольниковым, и Соней, остается почти не замеченным ни героями романа, ни его читателями, ибо центр тяжести текста — в духовном плане бытия его героев.

Раскольников, неосознанно жаждущий чуда духовного выхода из своей экзистенциальной катастрофы, сам не открывается духовно навстречу этому выходу. И в первую очередь потому, что в его сознании до поры нет места для покаяния. Узнав его тайну, Соня на его отчаянное «Что теперь делать?» [1, с. 398] — сразу открывает ему единственно возможный способ возвращения к жизни — и жизни с Богом: «Стань на перекрёстке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету... и скажи всем вслух: «Я убил!». Тогда Бог опять тебе жизни пошлёт» [1, с. 398]. Но он не верует в эту возможность. Он и в жизнь — с Богом или без Бога — не верует.

Ведь вот Дуня при последней их встрече с надеждой говорит: «Стало быть, ты в жизнь ещё веруешь». Но Раскольников отвечает: «Я не веровал... Я не верую» [1, с. 490]. Нет у него веры, нет и покаяния, нет сознания собственной вины: «В чём я виноват перед ними?» [1, с. 398] — говорит он Соне.

Потому-то он только жаждет чуда, и для сознания его это чудо пока без благодати, без сокрушения сердца, без жертвы. Похоже, что это должно быть чудо идеологического разрешения неразрешимой коллизии, разрешения, которое дало бы ему полное и окончательное самооправдание, переживание своей правоты, своего «право имею» без тени сомнения. Но в таком «идеологическом» чуде — нет жиз-

ни. Целые пласты жизни отбрасываются, стоит ему только вернуться к потугам самооправдания, и остается в его рассуждениях только старушонка, и забывается, как бы его и не было, убийство Елизаветы. Не зря говорит ему Порфирий: «Знаю, что не веруете, — а вы лукаво не мудрствуйте, отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь, — прямо на берег вынесет и на ноги поставит» [1, с. 434]. Ему должно пройти еще долгий путь, чтобы «вместо диалектики наступила жизнь» [1, с. 519].

Идеолог в Раскольникове все никак не позволит ему встать на этот путь живой жизни. Но целостная личность больше идеолога, живой, чувствующий, страдающий и сострадающий человек бунтует против теории, отступает от нее, все более отдаваясь живой жизни.

Ведь вот уже и умом доходит он до мысли: «если задаю вопрос: вошь ли человек? — то стало быть, уж не вошь человек для меня» [1, с. 397]. Да и не был человек для него вошью — в его реальной жизни, факты слишком известны.

Ведь уже сознает он то, что является основанием для покаяния: им утрачено самое главное в себе — он себя потерял, личностную самотождественность разрушил. «Я себя убил... Тут так-таки разом и ухлопал себя навеки» [1, с. 398].

Значит, сознает, что душу погубил, и уж он-то погубил напрасно, потому что и делал это все «для себя одного» [1, с. 397], не за други своя, не жертвуя Душой ради чьего-то спасения. Не веря в жизнь, он не верит в воскрешение так погубленной души.

И все же — тень надежды и на такое чудо сохраняется в глубине его сердца. Вот откуда это: «Так не оставишь меня, Соня? — говорил он, чуть не с надеждой смотря на нее» [1, с. 390]. Значит, тогда как идеолог в нем жаждет идеологического чуда, живой человек в личностной целостности не смеет надеяться и все же «чуть не с надеждой» смотрит туда, откуда может прийти чудо воскрешения напрасно погубленной жизни.

Он ведь был бы спокоен и нашел свое идеологическое разрешение вопроса, если б совсем отпал от Бога, Который есть любовь. Но он-то любит многих, и что особенно важно, поскольку наиболее трудно, ближних, самых ближних, а не абстрактного человека, всех вообще. Значит, Бог, сотворивший его по Своему образу, не лишил его этого образа, он все еще пребывает в нем.

И чудо совершается. Раскольников его не сознает, он не принимает его, поскольку это чудо приходит с почти невыносимой болью: «Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение! Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход... и вдруг, теперь, когда все сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде» [1, с. 399–400].

Почему же ему так больно? Потому что через Соню Бог приходит к нему, через ее любовь — духовную, чисто христианскую, — Бог дает ему знать о Своей любви к нему. Сказано было апостолом Иоанном: «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» [1Ио., 4:20]. Можно спросить и так: не узнавший любви брата и сестры, которых видит, как может узнать любовь Бога, Которого не видит? Бог приходит к человеку — к отдельной личности — лично, ибо и Бог есть Лицо, и часто Он приходит через лицо — человека, который Им посылается для спасения падшего, заблудшего, погубившего напрасно душу.

Раскольников еще не догадывается, что Бог через Соню уже входит в его жизнь — через ее любовь, в которой он будет впредь пребывать, стало быть, будет пребывать в Боге. Но мера, но модус этой любви им уже прочувствованы, и боль в ответ — это боль оттого, что он — такой — не соответствует подобной любви, что любить его — такого — значит страдать, значит принять на себя его грех, понести это невыносимое бремя. Ему тяжело принимать любовь к нему, потому что она для любящих его сопряжена с нестерпимой болью. Если бы он знал заранее о такой любви и такой боли, он боялся бы доставить ее — и это было бы подобием страха Божьего — страха перед тем, что своими грехами и преступлениями ты вгоняешь гвозди в тело Распятого, Который любит тебя, страха перед Его болью за тебя, страха унижить данный тебе образ Божий и тем умножить скорбь Бога, Который есть Любовь, берущего на Себя грех мира — и твой, твой грех.

Последнего Раскольников, конечно, не сознает. И этого страха он не испытал, он опомнился сердцем (сознание его все еще в затмении) слишком поздно — и тем ужасней и беспримерней его несчастье.

Но эта его тяжелая боль, это беспримерное несчастье — свидетельство того, что он переживает — еще неосознанно — разотождествление со своей идеологией и начинает возвращаться к себе, к утра-

ченной самоотжественности; ощутив боль любящих его, приближается к сокрушению духа и сердца. При последней встрече с Дуней он уже понимает, «что все-таки сделал несчастными этих двух женщин. Все-таки он же причиной» [1, с. 492]. И впервые — правда, пока лишь в условном обороте, говорит о своей вине, впервые просит простить: «Дуня, милая! Если я виновен, прости меня» [1, с. 402].

А это уже начало пути к покаянию и через него к возрождению, к жизни. Он еще не кается, но вот-вот — и взмолится: «Покаяния отвержи ми двери, Жизнодавче». Переход к такому духовному состоянию для него необыкновенно мучителен: «О, если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил. Не было бы всего этого» [1, с. 493]. Чего этого? Убийства? Да нет, не было бы мук и все сошлось бы в теории и практике.

Реанимация, воскрешение так же мучительны, как первое рождение, и реанимируемые порою даже и не хотят возвращения к жизни, ибо жизнь — страдание, тем паче для реанимированной души — совести, ибо для кающегося вся жизнь есть муки совести. И все это приходит к Раскольникову через Соню. Странно ли, что он так долго почти ненавидит ее.

В течение последующих полутора лет его вина все более полно будет предстать перед Раскольниковым. Но не перед сознанием — оно еще долго будет упорно цепляться за старое, а перед внутренним, еще не осознаваемым чувством. И это чувство вины будет все время обостряться болезненным для него ощущением, что его — такого — любят, тогда как он полагает себя недостойным любви. Он заранее знает об этом; только что расставшись с Дуней, он думает: «Но зачем же они сами меня так любят, если я не стою того!» [1, с. 493].

Вот к чему идет Раскольников — к переживанию вины и своего достоинства, без чего для него бессмысленными и даже неприемлемыми оставались внешние искупительные страдания и жертвы, нет им никакой цены, пока не пережито: «Жертва Богу дух сокрушен» [Пс. 50], потому что благодать приходит к грешнику только через жертву сокрушения, через переживание им вины и достоинства.

Вот здесь он, уже погубивший свою душу и начинающий сознавать вину и недостойность, и мог бы вспомнить ключевой для данной темы, да и для всего романа, монолог в трактире Мармеладова, не то что напрасно, — преступно погубившего и душу свою, и дочь, и всю семью — погубившего так, что уж никакой надежды ни в ре-

альности, ни в духовном измерении у него не могло, не должно было быть. Но — странно — не ожидающий, не жаждущий чуда, уже безвозвратно погибший, на последнем краю, зная, что всему конец, он вдруг открывает как свое духовное достояние перед Раскольниковым все то, к чему тот потом с таким трудом будет пробиваться, все то, что дает возможность разрешения неразрешимого в духе и истине, все то, что открывает возможность спасения в Боге, в Божьей милости, в благодати.

Весь монолог его преисполнен сокрушения. Явлена в нем и «болезненная любовь к жене и семье» [1, с. 23], и боль от узнанной им — и тоже через Соню — но на этот раз распознанной Божьей любви, тоскующей, плачущей о его погибшей душе: «Тридцать копеек вынесла, своими руками, последнее, все что было, сам видел... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела. Так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют! А это больней-с, больней-с, когда не укоряют!» [1, с. 24].

Его чувство вины доходит до того, что он восклицает: «Да! меня жалеть не за что! Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть!» [1, с. 24]. Он знает и страх — видеть, как его грех, его падение и гибель распинают — нет не Бога, — ближних его — жену, детей (но ведь через них и Бога): «Я... глаз ее боюсь... да... глаз... Красных пятен на щеках тоже боюсь... и еще — ее дыхания боюсь... Видал ты, как в этой болезни дышат... при взволнованных чувствах? Детского плача тоже боюсь...» [1, с. 25].

Ему уже нечем жертвовать, но, видимо, помня слова «Милости хочу, а не жертвы» [Мф., 9:13], он молит об этой милости: «Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его» [1, с. 24].

Но, главное, — ему присуща вера. Начинает он с веры в высшую справедливость: «Приидет в тот день и спросит: «А где дочь, что матеке злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала. Где дочь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, пожалела?» И скажет: «Прииди! Я уже простил тебя раз... Простил тебя раз... Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила много...» И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит... Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал!» [1, с. 24]. Тут и правда чаяние справедливости: ведь, губя свою душу, Соня принесла ее в жертву любви и милосердию, и потому, верит Мармеладов, прощение его заслужено.

Но вера его распространяется много далее. Он верует в милость, которая превышает справедливости, в спасение по благодати. Он знает, он пережил то, о чем говорится в молитве св. Иоанна Дамаскина: «Яко недостойн есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки». Но тем жарче горят в подтексте его монолога дальнейшие слова этой молитвы: «Аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно: достойни бо суть милости Твоя. Но на мне грешнем удиви милость Твою: о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанней благодати и милосердию».

Только и помилование, и спасение, знает он, для него возможно лишь за гранью этой жизни, лишь на последнем Суде: «И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смиренных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, соромники!»... И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголют премудрые, возглаголют разумные: «Господи! Почто сих приемлещи?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего»... [1, с. 24–25]. Здесь его личное открытие: путь к спасению, к единению с Богом проходит через сознание недостойнства.

Так Мармеладов обретает чудо: на предельной глубине падения, отчаяния, безнадежности, пережитых им в объективных обстоятельствах и субъективно до конца прочувствованных, вопреки всему ему даруется чудо надежды, надежды воскресения души, которая не узнает смерти, надежды на вечное спасение в единении с Богом, надежды, дающей ему возможность пережить состояние спасенности в приобщении к вечной жизни здесь и сейчас, надежды, таким образом, преодолевающей неразрешимость экзистенциальной коллизии. Это ли не чудо — пусть мимолетное, но блаженное состояние надежды, в котором дано несомненное обладание незримым сокровищем спасения. Вспомним слова св. Иоанна Лествичника: «Надежда — невидимое богатство, несомненное владение сокровищем прежде получения сокровища» [2, т. 6, с. 564].

Надежда спасения есть упование чудесного дара благодати, о котором идет речь в одной из утренних молитв, несомненно, питавших мысль Мармеладова (естественно, и Достоевского): «И паки, Спасе,

спаси мя по благодати, молю Тя; аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать и дар, но долг паче... Веруай бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Аще убо вера, яже в Тя, спасает отчаянных, се верую, спаси мя... Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюд оправдающих мя»...

Таким образом, надежда на спасение «отчаянного» у Мармеладова венчает его веру — в полном соответствии с православной молитвой. Таков модус его — и вообще христианской веры: вера, яже в Тя, спасает отчаянных.

Человек доходит до последнего отчаяния, жаждет спасения, в профаническом мире невозможного, и переживает обращение к личному Богу, Который в случае такого обращения и может понять, простить, оставить, разрешить неразрешимое. Такая вера — тоже есть благодать, дар Божий, ее явление в судьбе отверженного Мармеладова — тоже чудо.

Стало быть, известно было Раскольникову с самого начала: есть такая вера, которая спасает отчаянных, через которую человек в духе и истине находит разрешение неразрешимого: переживает прощение и помилование погибшей души, стоит лишь ошутить по-настоящему свою вину и свое недостойнство.

Но знать об этом и пережить это — не одно и то же. Раскольников идет далее единственно возможным путем — совершать действия, по содержанию своему предполагающие веру, не дожидаясь субъективного переживания веры. Он ведь и предавать себя идет, не веруя. И при последнем свидании с Дуней он говорит: «Я не веровал, а сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали; я не верую, а ее просил за себя молиться. Это Бог знает как делается Дунечка, и я ничего в этом не понимаю» [1, с. 490]. Да и стоит ли все понимать — вера из области иррационального. И вот через действие это иррациональное входит в его внутренний мир, в его жизнь. Он приходит за крестами к Соне и когда она просит его перекреститься, говорит: «О, изволь! Это сколько тебе угодно. И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца... Он перекрестился несколько раз» [1, с. 496].

На площади уже он вспомнил слова Сони («Поди на перекресток...»), тут еще более входит в его чувства то, что и должно сопровождать подобное действие: «Он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как

огонь, охватило всего. Всё разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю» [1, с. 498].

Казалось бы, стоит ему сделать следующий шаг, и вслед за явкой с повинной придет, наконец, глубокое, осознанное покаяние и через него возрождение его погубленной души. Вопреки ожиданиям происходит прямо противоположное: на каторге «он вновь обсудил и обдумал прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время, прежде» [1, с. 513], более того, «ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем» [1, с. 512].

Это как будто никак не мотивировано ни предшествующим развитием действия, ни наметившейся эволюцией внутреннего состояния Раскольникова. Но взгляды пристальнее — разве нашла разрешение та неразрешимая коллизия, в которую, как в омут, затянуло Раскольникова. Явка с повинной, суд, каторга — все это внешние обстоятельства, формальная развязка, снявшая необходимость борьбы с внешним миром — той исчерпавшей все душевные силы Раскольникова борьбы с уголовным преследованием, борьбы за то, чтобы уклониться от наказания.

Но внутренняя коллизия осталась неразрешенной. Ведь и в день явки, в последнем разговоре с Дуней он стоит на своем: «И все-таки вашим взглядом не стану смотреть» [1, с. 491]. Нет, это Порфирий Петрович, выдавая желаемое за действительное, говорит ему: «А вы ведь вашей теории уж больше не верите» [1, с. 435]. Для Раскольникова и тогда, и много позже она сохраняет свою силу и притягательность.

Формальная развязка, освободив Раскольникова от необходимости борьбы, изъяв его из течения жизни, разъединив его с теми, кто любил его и кто вызывал его тревогу и заботу, оставляет его «на свободе» от борьбы, от жизни, от любви — от всего, что входило в противоречие с абстракцией, дает ему возможность вновь сосредоточиться на теоретическом разрешении вставшей перед ним проблемы, вновь совершить абстрактный выбор. И он возвращается к вращению в том же порочном круге.

Его мысль вновь занимают «не наследовавшие власть, а сами ее захватившие» [1, с. 513], он, очевидно, не раз возвращается к высказанной им уже не однажды мысли: «власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее» [1, с. 396]. Он полагает: для тех, «кто больше всех может посметь» нет закона, не замечая, что здесь налицо

извращение мысли апостола Павла «на таковых нет закона» [Гал., 5:23], приложенной апостолом к тем, кто имеет «плод... духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» [Гал., 5:22–23]. Вместо всех этих плодов он выбирает иное, и в этом ином главное — абстракция.

Побеждает она, подслушанный, искусителем подброшенный аргумент: «да ведь тут арифметика» [1, с. 65]. Абстракцией и создается то псевдодуховное, рационально-прагматическое, связанное с реализмом практической жизни внутреннее состояние, которое более всего склонно оправдывать зло и более всего открыто для принятия демонического духовного начала. Соприкасаясь прежде с живой жизнью, его «Я» способно было протестовать против абстракции: «Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего... А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет!..» [1, с. 51].

Теперь он оказался «избавленным от обыденных влияний» [1, с. 513] — и на свободе от живой жизни твердо стоит на своем: «Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так странною» [1, с. 513]. В сознании Раскольникова остается только то, что соответствует его прежней мономании: «Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он себе. — Тем, что он — злодеяние? Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах» [1, с. 513]. И мучит его лишь одно: «Те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг» [1, с. 513].

Он и прежде, и на каторге не сознает духовной сути своей внутренней коллизии, хотя именно ею обусловлены его страдания, его болезнь. Исток этой коллизии в том, что он, как человек одаренный, способный к напряженной работе мысли, устремляющийся к тому, чтобы бытие его было содержательно наполненным, не мог примириться с заурядным образом жизни: «Жить, чтобы существовать? Но он тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за

идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему; он всегда хотел большего» [1, с. 512–513]. Он чувствовал в себе силы сказать «новое слово», жаждал сказать его, но, поскольку само это новое слово как-то все не выговаривалось, направил все силы рассудка на осмысление судеб в истории тех, кто это слово уже сказал. Тут его и подстерегла первая ловушка. Он установил, что все, кто привлекал его особое внимание, все эти «законодатели и установители человечества... все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний... и уж, конечно, не останавливались и перед кровью» [1, с. 245].

Мысля совершенно абстрактно, и именно абстрагируясь от живой жизни и ее нравственного содержания, он совершает подмену: исторические прецеденты, в силу их многочисленности, принимаются им за закон, имеющий всеобщее значение, за правило, которому можно и нужно следовать, за норму, дающую нравственное обоснование преступлению, когда оно совершается с целью «разрушения настоящего во имя лучшего» [1, с. 246]: «если ему надо для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь» [1, с. 246].

Этот абстрактный ход мысли, приведший к разрешению крови по совести, становится его мономанией: не дожидаясь артикулирования собственного нового слова, он решается приступить к делу с этого конца — с крови по совести.

Другая ловушка, в которую он попадает, связана с деформацией противопоставления тех, кто способен сказать новое слово, и всех остальных, т. е. законопослушной и консервативной массы, материала, служащего «для зарождения себе подобных» [1, с. 246]. Это противопоставление преобразуется, подменяется оппозицией твари дрожащей и тех, кто право имеет, в иной формулировке: вошь и человек. Вот его главная, подменной обусловленная мысль: человек — тот, кто право имеет, остальные — тварь дрожащая. Он с самого начала чувствовал в себе силы быть человеком, жаждал этого. Он не хотел примириться с положением твари дрожащей, не хотел привыкать к навязанным извне условиям существования, применяться к ним: «Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто всё за хвост и стряхнуть к черту!» [1, с. 396].

Так можно объяснить странную для стороннего наблюдателя логику его мысли еще до убийства: «Ко всему-то подлец-человек привыкает! Ну а коли я соврал, коли действительно не подлец человек... то значит, что остальное все — предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!» [1, с. 28]. Его логика тут такова: если ты человек, а не вошь, а человек не подлец, то ты не должен примиряться с нелепостью существования, ты право имеешь, а остальное — законы, мораль, страх Божий, — предрассудки, страхи напущенные, и нет никаких преград. Характерно, что, не выдержав своего шага, Раскольников многократно именуется подделом и прямо говорит: «Я такая же точно вошь, как и все» [1, с. 397]. Вот чем так долго была уязвлена его гордость: не выдержав своего шага, он доказал себе, что он такой же, как все.

Но примириться с этим он не может и долгие полтора года мучается от зависти к тем носителям «нового слова» [1, с. 246], которые способны были «устранять препятствия» [1, с. 247] и при том «без всякой задумчивости» [1, с. 393], «не удостаивая даже и объясниться» [1, с. 260],

И вот, может быть, самое главное в постигшей его духовной катастрофе: не новое слово, не возвышенная цель, не стремление облагодетельствовать человечество, даже не власть сама по себе влечет его, а вождение возвыситься над тварью дрожащей, и более всего — чтоб утвердиться в этом возвышении, вождение преступить, преступить ради самого преступления. Это похоть к преступлению, вождение греха ради самого греха: «Я просто убил, для себя убил, для себя одного... Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу!» [1, с. 397].

Таков был его сознательный выбор, предопределивший его неосознаваемое, неконтролируемое духовное состояние. Услышав его слова «Я только осмелиться захотел» [1, с. 396], Соня восклицает: «От Бога вы отошли, и вас Бог поразила, дьяволу предал» [1, с. 396]. Нет, предал себя Раскольников сам — своим сознательным выбором. От человека зависит не столько само содержание, наполняющее его внутренний мир, оно приходит извне, из тех или иных источников, от человека зависит выбор источника, к которому он приобщается. Раскольников сделал выбор — и попадает в зависимость от своей идеи, от обстоятельств, как бы все время подталкивавших его, настает момент,

когда уже «он не рассуждал и не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли» [1, с. 62], и все складывалось само собой, так что он в определенный момент прямо подумал: «Не рассудок, так бес» [1, с. 72].

Это верно, стоило ему сделать свой выбор, и в его судьбу вошло то иррационально-темное, изощренно хитрое и сверхъестественно удачливое в довершении задуманного и в ускользании от преследователей, чему и может быть дано это наименование — бес. Не смеется он, когда после спрашивает: «Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня, а?» [1, с. 396].

Он несколько раз потом повторяет: «Меня черт тащил...» [1, с. 396], «черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной...» [1, с. 397] и «А старушонку эту черт убил, а не я» [1, с. 398].

Диагноз точен. Выбором своим, похотью к преступлению он открыл свою душу и судьбу для демонических сил, и они не отпускают его. Борьба идет не в его душе, а за его душу. В этой борьбе сталкиваются живая жизнь, любовь и страдание близких ему людей, с одной стороны, и силы тьмы, приведшие его к духовному помрачению, с другой.

Но и от жизни, и от людей он своим помрачением отъединен. Состояние отчуждения от людей пришло уже в первые часы после убийства: «Теперь если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы у него ни одного человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказалось в душе его... Не то, чтоб он понимал, но он ясно ощущал... что... даже с чем бы то ни было ему уже нельзя более обращаться к этим людям... и будь это все его родные братья и сестры... то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним и даже ни в каком случае жизни» [1, с. 100].

Пока рядом билась живая жизнь, его разъединение с людьми не было полным. Он порывал с людьми, так сказать, доктринально, но живой человек в нем тянулся и к Соне, и к Мармеладову, и к Дуне, и к Поле. Он порывал с родными, доходя до сознания того, что ненавидит их, и снова возвращался к ним. Вот он уже изложил Соне свою те-

орию, теснейшим образом связанную с его отъединенностью от всех, и вдруг у него прорывается: «Так не оставишь меня, Соня?» [1, с. 390].

Но на каторге его разъединение с людьми предстает во всей полноте. И в мыслях, и в реальных отношениях с каторжными и с Соней он пребывает в собственной сингулярности, он отдельная, отъединенная от всех, замкнувшаяся в себе монада. Он окончательно отъединен от людей, но и от жизни, и от Бога, и от самого себя. Та сила, которая разъединяет, может торжествовать. Для отъединенного от себя и от Бога невозможна любовь к себе — и, соответственно, любовь к другим, да и любовь других к нему принять невозможно, невозможно и помыслить любовь к тебе Бога — любовь к грешному, падшему, преступному, — невозможна, наконец, любовь к жизни.

Не любя себя, Раскольников ожесточается против всех и вся, видя в людях либо тварь дрожащую, либо гениев злодеяния. Его удивляла любовь каторжных к жизни. Под конец «стала удивлять его та страшная, непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом» [1, с. 514]. Но что ж тут-то удивляться. Каторжные — люди в основном простые, непосредственно переживающие жизнь, воспринимающие все живым чувством, интуицией. Вот они и почувствовали его отъединенность, замкнутость в себе, презрение его ко всей твари дрожащей, и то, что человек для него вошь. Они могли почувствовать в нем самое страшное — маниакальную похоть к преступлению ради того только, чтобы преступить, то, какой выбор им был сделан, и то, что он и теперь тверд в своем выборе, и то, наконец, кому открывает он этим выбором свою душу.

Странно ли, что они кричали ему: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь» [1, с. 515]. Ведь вера, в частности, «есть дело совершенно свободного и духовного выбора» [2, т. 8, с. 613]. Современник Достоевского еп. Игнатий Брянчанинов писал: «К вере способна только та душа, которая решительным произволением отверглась от греха, направила всю волю и силу свою к Божественному добру» [2, т. 5, с. 501].

И покаяние предполагает выбор: устремление души из той тьмы, которая готова поглотить ее. Раскольников тогда такого выбора не сделал, хоть и ходил в церковь, когда «пришла очередь говеть вместе с своей казармой» [1, с. 515].

Ему, не выбравшему единения с Богом, отречения от греха и возрождения к жизни, непонятна и любовь каторжных к Соне. Но ведь они, выбравшие жизнь и возрождение к жизни, могли почувствовать

в ней глубину страдания, и ужас падения, и сознание недостойности, и осуществление возрождения через покаяние, через отречение от прежней себя, через любовь и жертвенность, смирение и терпение, она была для них живым примером реально осуществленного спасения: была подобной им, пребывающим в мертвом доме, и воскресла.

Святитель Димитрий Ростовский о евангельской блуднице говорил: «Через истинное и долгое покаяние обновляется честность девства» [2, т. 6, с. 738]. Это и произошло с Соней, это, не сознавая, почувствовали в ней каторжные, потому и умилялись, и любили ее, и хвалили, «даже не знали, за что похвалить» [1, с. 516].

Разъединение с людьми, вообще разъединение людей в горячем бреду предстает перед Раскольниковым как всемирная катастрофа. Сон открывает ему главные причины гибели, во сне — всего человечества, но в реальности — его самого: люди, принявшие в себя духов зла, становятся бесноватыми, но главное, и это уж и совсем похоже на самодиагноз, их мономания, фанатичная их верность ей: «Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований» [1, с. 516].

Так во сне — непосредственно и невольно — приходит к нему впервые не осознанное еще сомнение в своей до сих пор непоколебимой рассудочной правоте.

Когда Раскольников думал: «Те люди вынесли свои шаги, а я не вынес» [1, с. 513], ударение он делал на глаголе «не вынес», не задумываясь над тем, почему не вынес Я, что есть это Я, абстрагируясь от изначальной двойственности его Я, связанного не только с теорией, но и с живой жизнью, не только с сознанием и сознательным выбором, но и со всей цельностью его личности. О жизни, о цельности своего «Я» он забывал. Но связь его с жизнью была реальной, многосторонней и несводимой к его абстрактному выбору. Реальной была и цельность его «Я», несводимого к его мономании.

Переоценка его непоколебимой правоты могла явиться именно с точки зрения его цельной личности, имеющей многообразные связи с жизнью. Да, это происходит во сне, бессознательно, бесконтрольно, как бы против воли, но значит, переоценка непосредственно исходит из глубины его личности.

Оттуда же так же непосредственно исходит и то, что он в свое время не убил себя. Сознание его на каторге мучится этим, но цельная личность сделала уже в тот раз свой интуитивный выбор — не вслед за Искариотом — в бездну отчаяния, но из этой бездны, как бы тяжелы ни были грядущие испытания. Не случайно именно в связи с этим эпизодом Достоевский замечает: «Он.. не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь» [1, с. 514]. Ведь и тогда бессознательный выбор был сделан цельной личностью, а не мономаном, цельной личностью, которая не вся отдалась искушению.

Когда Достоевский говорит «ложь», имеется в виду не обман, да и не самообман, а то, что приходит в противоречие с Солнцем Правды, и дьявол — отец лжи именно в этом смысле, он тот, кто противоречит Божьей Правде. Божья же Правда — это правда милости, любви, прощения, даруемого и блуднице, и каждому блудному сыну, это правда, в соответствии с которой Бог отделяет грех от грешника и оставляет ненависть — греху, а грешнику дарует Свою любовь.

От лжи, от противного Божьей Правде нужно было спасти душу Раскольникова. И спасти его могла только Божья Правда — ненависть к греху и любовь к грешнику.

То, что происходит в финале, рационально необъяснимо. За день, за час до внезапного перелома Раскольников пребывает все в том же состоянии: ни любви, ни раскаяния, ни мук совести, ни веры, ни упования, ни жажды чуда нет у него, лишь ложный стыд да уязвленная гордость и предельное истощение души и тела духовной, а затем и физической болезнью. Болезнь эта в глубинной сути своей была вызвана той главной духовной коллизией, которая пусть и не сознавалась Раскольниковым, но была объективно ядром его катастрофического внутреннего состояния: противоречием между тем, что составляло содержание его сознательного выбора, и цельностью его личности, мучительной двойственностью его Я, оторванностью его сознаваемого «Я» от «Я» цельного человека, мучительной тем более, что причина и сущность этой муки его оставались для него закрытыми.

Перелом наступает внезапно. Почему он вдруг начинает тосковать по Соне, почему бросается к ее ногам, как становится для него возможным любить ее, откуда эти мысли о том, «как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце» [1, с. 519] и стремление искупить бесконечной любовью все ее страдания.

Ни он, ни кто другой «ничего бы не разрешил теперь сознательно. Вместо диалектики наступила жизнь» [1, с. 519]. Жизнь, возвращение к ней, воскрешение того, кто столько времени провел во гробе своей мономании и сингулярности, возрождение его души, дарование ей сознательного сокрушения и чуда любви — все это наступает разом. Он возвращается к себе, к цельности своей, и одновременно к людям, и нет уже больше отчуждения, и вместе с тем — к жизни, к готовности принимать ее — ждать, претерпевая «столько невыносимой муки, столько бесконечного счастья» [1, с. 518].

Достоевский целомудренно умалчивает о том, откуда все это пришло, кто воззвал Раскольникова из его гроба, кто снизошел в темную бездну его души, чтобы «взыскать и спасти погибшее» [Лк., 19:10]. Но чудо говорит само за себя. Оно приходит, когда его уже не ждут, когда погибший уже ничего не может сам сделать для своего спасения, ибо уже полтора года мертв и столько же, если не больше, пребывает в помрачении духа — под дьявольским наваждением.

Но ведь молились за Раскольникова любящие его, ведь было что положить на иную чашу весов — цельность его личности и жизни. Ведь был, наконец, один, пусть едва наметившийся признак сокрушения его сердца, — он никогда не считал себя достойным благодати спасения.

Христос в Евангелии дарует свою благодать блуднице и мытарю Матфею — не дожидаясь от них покаяния, веры, Христос изгоняет бесов, когда из уст одержимого слышит: «Не мучь меня» [Лк., 8, 28]. Так и здесь — в один миг происходит подобное евангельскому: «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него» [Мф., 17:18]. Бог совершает чудо изгнания беса из души Раскольникова и воскрешения его к жизни, не дождавшись от него сознательного отречения от греха, ни дел, которые бы оправдали его, ни глубокого покаяния, ни веры. По молитве за него. Более же всего — по благодати. Потому что воля Его в том, чтобы взыскать и спасти погибшего.

Так Раскольников переживает в реальности то, о чем мечталось Мармеладову, более того, Бог даже не говорит ему «прииди и ты», но Сам входит в его жизнь чудом любви — через любовь Сони, через дивным образом внезапно вспыхнувшую его любовь к ней, ведь эта любовь есть дар, ниспосланный Богом, есть благодать пребывания любящего в Боге и Бога в сердце.

С ним происходит то, во что верила Соня, что по вере было дано ей: верующий, если и умрет, оживет. Пусть он до этого сам не веровал, она-то верила, любила, страдала, молилась, уповала на Бога и на цельность человеческого Я Раскольникова. По вере ее Бог прощает его и возвращает к жизни. Точно так, как это происходит с расслабленным в Евангелии: «И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо: прощаются тебе грехи твои» [Мф., 9:2].

И оказывается, что интенционально напряженные мечтания Мармеладова и вера Сони — уже тогда — до катастрофы и в то роковое время являли прообраз того, что свершается с Раскольниковым на последних страницах романа.

Чудо происходит — не в профаническом измерении бытия, не через бога из машины, не через развязывание запутанной коллизии на плоскости реального существования, не в виде идеологического решения, чудо происходит с Душой и в душе Раскольникова.

И значит, оправданной была интенциональность к чуду — и Мармеладова, и Сони, и даже Раскольникова, ведь неосознанно, но мучительно переживая разъятость своей цельности, он жаждал — столь же бессознательно и столь же мучительно — чуда восстановления этой цельности.

Одним из важнейших моментов в том чудесном, что происходит с Раскольниковым, является его разобщение со своим преступлением. Бог дает ему главное, что необходимо грешнику, чтобы начать новую жизнь: выводит вовне, овнешняет, тем самым отделяет от него его погибельное прошлое: «Всё, даже преступление его, даже приговор и ссылка, казались ему теперь, в первом порыве, каким-то внешним, странным, как бы даже и не с ним случившимся фактом» [1, с. 519].

Слово «факт» здесь употреблено почти с терминологической точностью, соответствующей современным семантическим представлениям. Согласно им факт противопоставлен событию. Событие рассматривается как переход к новому состоянию и положению дел, как происшествие, которое берется во всей полноте своего содержания и следствий, как то, что предопределяет всё дальнейшее в судьбе человека и потому как бы постоянно присутствует, сопровождает последующее бытие, является со-бытием, тем, с чем в дальнейшем живет человек. Если событие становится фактом, это значит, что происшедшее становится предметом отношения к нему, оценки, разносторон-

него осмысления, т. е. существует далее в ментальном, а не в реальном мире, отделяясь от дальнейшего бытия личности.

Но подобное же происходит, когда грешнику прощается его грех. Совершенное им не уходит из сознания грешника, остается предметом напряженного осмысления, духовной и нравственной оценки, но в то же время как бы отделяется от дальнейшего бытия личности, перестает властвовать над душой и судьбой, предопределяя и состояние души, и судьбу. Человек, его душа, его судьба освобождаются от этой власти. До прощения имеет место совместное бытие, со-бытие греха и грешника. После прощения эта совместность, это со-бытие прекращается, грех пребывает в сознании, в памяти, в ментальном мире, но — будучи отпущенным, он впредь пребывает только в мире прошлого, более не входит в состав настоящего и будущего. И человек, его душа, его существование отпускаются на свободу.

Чудо и счастье, пережитые Раскольниковым, и есть чудо и счастье освобождения от власти, которую имели над ним и его душой его вождение греха, похоть преступления, его мономания, помрачение духа, демоническое начало. Теперь он свободен.

В освобожденную от власти прошлого и демонических сил душу Бог входит любовью, тем самым воскрешая ее, ибо воскрешение души Раскольникова — это восстановление ее единения с Богом, Который есть любовь. Но странно, явив чудо спасения, явив чудо любви, Бог лика Своего не открывает, остается и тут не узнанным — ведь ни Раскольников, ни Соня, ни автор, ни читатель не сознают, что всё это Его воля, Его свершение — все думают: «их воскресила любовь» [1, с. 518].

За этим — и авторское целомудрие, и самоумаление Божье, и характерная для современного человека неспособность распознать чудо, когда в нем нет ничего сверхъестественного. Но главное: спасши погибшего, открыв ему возможность нового переживания бытия, освободив его из прежнего плена, Бог оставляет ему его свободу, возможность самому вырабатывать в сознании новое отношение к жизни, ничего не навязывая, как не навязывала Раскольникову Соня Евангелие, дает ему возможность самому дорого купить новую жизнь, «заплатить за нее великим, будущим подвигом» [1, с. 520], оставляет простор для самостоятельного произволения, для душевного труда, для выстраданного «постепенного обновления человека... постепенного перерождения его» [1, с. 520].

Три лица в романе Достоевского интенционально устремлены к чуду, ждут и жаждут его — Мармеладов, Соня, Раскольников. Каждый из них переживает свою духовную катастрофу, свою неразрешимую экзистенциальную коллизию. Для каждого из них разрешение неразрешимого возможно лишь в духовном измерении бытия. Каждый из них обретает чудо.

Уже умирая на руках Сони, Мармеладов обретает чудо прощения, о чем лишь мечталось ему в пьяной грезе, но и до своей физической гибели он обрел чудо Божьей любви, увиденной им в глазах Сони, и чудо надежды на прощение его, на то, что и Бог, и все поймут его сокрушение сердца, и чудо веры, которая спасает отчаянных, пусть не в реальном существовании, а в инобытии, но спасает.

Чудо возрождения своей погубленной жизни — вплоть до «восстановления девства» — переживает Соня, потому что возлюбила много, душу свою положила за спасение ближних, потому что веровала, что верующий, если и умрет, оживет, потому что жаждала единения с Богом и шла к Нему путем сокрушения сердца, жертвы, страдания, любви.

Но самое удивительное и грандиозное чудо даруется Раскольникову. Он по своей воле от Бога отошел, выбрал иноприродное Богу, предал себя демоническим силам, возжаждал преступить, возомнил, что нет преград, так под конец замкнулся в себе, в своей мономании и сингулярности от Бога, людей и жизни, что уже в душе его не было борьбы с духовным помрачением. Он помыслить не мог, что спасение своей души для человека важнее власти над целым миром; жажда право иметь, подняться над тварью дрожащей, сравняться с теми, кто устраняет преграды «без всякой задумчивости», затмила все в его душе. И вот его, такого, в этом его состоянии, не дожидаясь от него веры и покаяния, Бог спасает, освобождает от дьявольского наваждения, возвращает к жизни, к любви, и при том — не только в духе и истине, но и в реальной судьбе его открывает возможность любви и свободного, самостоятельного, по собственному выбору и своей воле совершаемого обновления и перерождения. Бог совершает то, что невозможно было уже для человека. И в этом — и только в этом сверхъестественность Его вмешательства в судьбу Раскольникова.

С каждым из них — с Раскольниковым, Мармеладовым, Соней — происходит чудо спасения казалось бы безвозвратно погибшего.

И это значит, что человек, верующий и даже не верующий, не должен оставлять упования, что бы с ним ни случилось.

Трагические и страшные судьбы этих трех, да и многих других, героев Достоевского свидетельствуют: Бог всегда видит главное в человеке — цельность его личности и цельность его судьбы. И что бы ни совершил человек, и что бы он ни думал о себе и мире, вопреки всем отягощениям, даже вопреки выбору лжи, совершенному в помрачении духа, Бог может не осудить его, но воззвать к новой жизни из мрака падений, пороков, преступлений, если хотя бы бессознательно цельность личности противилась этому, если этому противоречит цельность ее судьбы. Тогда человек, если и умрет, оживет, тогда он может ждать чуда и пережить осуществление ожидаемого.

ЛИТЕРАТУРА

1. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 т., т. 5. — Л.: «Наука», 1989.
2. Настольная книга священнослужителя, т.т. 5, 6, 8. — М.: Издательство Московской Патриархии, 1986–1988.